

Леонев Евгений

25.02.90

25/II-90

Трагедия - 1980. - 25 февр. - С. 3

Наш собеседник — народный артист СССР Евгений ЛЕОНОВ

Вернувшись из небытия

Евгений Павлович Леонов относится к тем редким актерам, которым можно доверить и проповедь и исповедь. И не только потому, что в нашей зрительской памяти так сильно и нерасторжимо восприятие его как добрейшего музыканта Сарафанова из «Старшего сына» А. Вампилова, и мудрого, внутренне интеллигентного слесаря Приходько из «Белорусского вокзала», и отчаянного бригадира Поганова из «Премии» А. Гельмана, — десятки людей имеют облик, душу, человеческий стиль Леонова. Такова его профессия. Таков он в этой профессии. А эта встреча — еще и возможность поговорить с актером не только популярным, но и обладающим нестереотипным, непредсказуемым мышлением, с человеком мудрым, с человеком, мастерством западногерманских врачей возвращенным нам после девяноста восьми секунд небытия...

— Евгений Павлович, последнее время ваше имя все чаще появляется на газетных полосах...

— Вот это не дело. Наверное, у меня слабый характер... Мне кажется, у нас очень часто бывает, что кто-то становится вдруг модным. Временно. Поиграют — потом выбросят. Может, и я так же стал... Вроде умер — вроде возродился, вроде всеобщий интерес — письма ко мне мешками приходят: в адрес нашего посольства в ФРГ, в театр... Вроде и по телевидению показали. Может быть, поэтому, а не потому, что я какой-то оракул, не потому, что я племянник Кашпировского или необыкновенно умный экономист.

— А ваше мировосприятие сильно изменилось после того, как вы, по вашим же словам, «умерли» в Гамбурге?

Нет, вы знаете, у меня мировоззрение стало меняться с тем, как меняется облик нашего общества.

— В каком году: 56-м или 85-м?

— Не знаю, мне сложно сказать. Мне нравится все, что делает Горбачев, то есть то, что он сумел дать нам возможность посмотреть на себя: кто мы такие. Но мы, посмотрев, пока еще не сделали выводов. Если сделали — то на словах. Наверное, я уже старый, и мне сейчас все кажется простым: доброе и недоброе, светлое или темное, для людей или не для людей — разберись, по какую ты сторону, и все. А остальное как-то не по делу. Я отталкиваюсь даже не от своих ощущений, хотя и они остры, а от газет — я никогда еще так много не читал. От телевидения, которое смотрю, — раньше так много не смотрел. Меня каждый день что-то потрясает.

Но у нас отняли культуру. Наше поколение почти ничего не знает. Мы даже не знаем, что такое социализм, потому что Сталин и прочие отняли у нас суть, оставив понятие. Мы и не знаем других взаимоотношений, кроме интриг. Мы не знаем уже про свою собственную историю. Только сейчас нет-нет да чего-то рассказывают нам в газетах...

— В наше время исторических и моральных переосмыслений стали бы по-другому относиться к некоторым вашим любимым героям? Так же играли бы вы сегодня Шибалку из «Донской повести», можно ли что-то, пусть и храм, строить на крови?

— Я принадлежу к тем актерам, которые, вроде все сделав, считают, что по-другому уже не получится. А потом проходит время, и я уже забываю: где и как мы спорили, что внес я, куда звал режиссер... Для меня остается только одно: он звал к искусству. «Донская повесть», конечно же, хорошая литература. Сыграть казака, человека от земли, соединить его грубоватость и нежность ребенка, и добрые глаза лошади, у которой отобрали жеребенка, — все это очень

трудно. Тем более мне, тогда, в шестидесятые годы пугавшему своими телесами тигров на всех экранах в «Полосатом рейсе», тот же режиссер предложил сняться в сугубо драматической роли. Тогда кто-то писал, что я спекулирую своими данными; кто-то — что Леонов, оказывается, не только комедийный актер... Забывая, что любой актер всегда в движении, что это движение может так ни к чему и не привести, но у каждого есть надежды.

К тому же для меня «Донская повесть» родилась не на пустом месте: был комик — стал трагик.

И я понимаю умом и немножко сердцем, что все-таки лучшая работа в моей жизни, конечно же, Приходько в «Белорусском вокзале». Там все соединилось: и литература глубокая, и актерские работы, и атмосфера, и значительность самой идеи произведения. Рассказывали, что в Англии ее называли картиной о потерянном поколении. И так можно сказать, видимо. Люди всю войну вместе прошагали, живут в общем-то рядом, кончилась война — и у них не было 20 лет желания встретиться друг с другом: почему, отчего? Хорошие ведь все люди. Но лишь мой герой, Приходько, все время помогал забытой, выкинутой из жизни санитарке Раечке, которая на фронте была и сестрой, и матерью...

— В интервью пятнадцатилетней давности вы говорили о ролях, которые уже тогда не удалось сыграть в театре...

— У меня всегда была вера в то, что я еще не до конца прочитан кем-то. Я не сыграл короля Лира и уже вряд ли когда-нибудь сыграю. В этой роли хотелось бы просто поговорить, а не читать патетические стихи. И, самое главное, решить эту пьесу как трагедию обманутой доверчивости, как трагедию растоптанной доброты. И это могло бы получиться, найдишь человек, который в меня бы поверил, но так не случилось. Как и каждый актер, я зависим. Я не сыграю и что-то еще, совершенно неожиданно. К примеру, «Очарованную душу» Романа Роллана: такие мысли тоже были, и даже были режиссеры, но в силу обстоятельств этого не получилось.

Иногда нам, актерам, кажется: вот бы мне сыграть, например, Отелло... Но когда пробуешь, не всегда получается. Не получился у нас в театре Фальстаф — пытался поставить Васильев, он талантливый человек, но мы впустую потратили целый год. Можно ли так испытывать судьбу? Тем более что Фальстаф мне больше нравился не ранний, а поздний, где он уже замешан на какой-то печали, а не только балагур и весельчак. Я об этом говорил и Марку Анатольевичу Захарову, и мы даже искали режиссера, который мог бы это поставить...

В последнее время я был очень болен и не знаю, насколько мне вернется та сила, которая позволит сделать что-то... Но раньше мне не удалось бы сыграть и Тевье-молочника, потому что Шолом-Алейхем тоже, к сожалению, считался автором, не удобным нашему обществу.

— Но все-таки премьера спектакля состоялась, и ваш первый после болезни выход был признан лучшей актерской работой ушедшего года. Осуществилась ваша давнишняя мечта...

— Да, наступил момент, когда мы поставили — правда, по Шолом-Алейхему — пьесу Григория Горина, как мне кажется, талантливую, глубокую, умную. Но все равно это — Шолом-Алейхем, все равно это Тевье-молочник, все равно это страсть, это сердце, доброе сердце... Все равно это молитва, обращенная к людям: опомнитесь, остановитесь, подумайте о боге, нельзя безжалостно его топтать, нельзя вспоминать всуе. Оказалось, что наш спектакль нужен людям. Вы, наверное, сами видели статьи добрые почти во всех газетах. Добрые слова говорят не только про меня, но и про Матюшину, исполнительницу жены Тевье — Голды, и про Абдулова, который прекрасно импровизирует в роли Менахема, и про детей — всех разных, неожиданных, и про режиссуру Захарова, которая оставляет нам, по его выражению, «коридоры» для импровизации, для человеческой интонации, незаученности, нетвердолобости, что ли. И билеты на наш спектакль трудно достать. Наверное, это не случайно в наше встревоженное время национальных распри, когда идеи, которые выдвигаются, до такой степени неосновательны, что не должны окупаться ненавистью. Убежден: не может быть идеи, которую надо доказывать кровью. И об этом наш спектакль «Поминальная молитва».

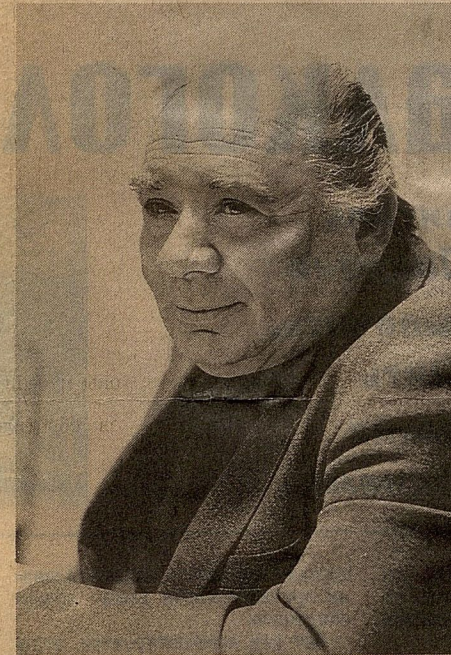
— В книге Марка Захарова вам посвящена целая глава. Если бы вы писали подобную книгу, была бы там глава о Захарове и что бы вы в ней написали?

— Я не в одном театре работал, а в трех: в Театре имени Станиславского, где я стал хоть кем-то, потому что там был прекрасный Михаил Михайлович Яншин, потом — в Театре имени Маяковского, у другого своего учителя по театральной студии прекрасного Андрея Александровича Гончарова. Я там проработал 4 года, сыграл и Санчо Панса в «Человеке из Ламанчи», и старика Ванюшина в «Детях Ванюшина» — прекрасный был спектакль... Понимаю, что подготовить Иудушку Головлева в Театре Маяковского, может быть, было сложно... Иначе я не ушел бы оттуда. Я перешел ради искусства, тянулся за режиссурой, пытаясь что-то в своей жизни сделать.

Мы с Марком Анатольевичем иногда ссорились — немножко. Может быть, ему даже казалось, что я его не принимаю. Дело в том, что он со своим талантом всех нас перекрывает. «А ну, включите барабаны, включите музыку, женские фигурки, свет снизу, вбок...». Поэтому мы не всегда знаем, кто из нас потенциально может выйти на сцену — и потрясти зал, чтобы все встали и зарыдали. К тому же в последние годы, может, и литературы подходящей не было, и Марк Анатольевич рождал спектакли, сочинял их: и «Чинарский манифест», и «Проводник эксперимент»... Вдруг в спектакле что-то упало сверху, кого-то там раздавило — и вокруг этого пол-акта...

А мне всегда хотелось, чтобы в нашем театре наряду с яркими, зрелищными спектаклями типа «Юноны» и «Авось» создавались — с теми же душевными и материаль-

ными затратами — спектакли психологические. Станиславский удивлял глубиной. Я понимаю, сейчас время другое, — но тем не менее привезли недавно свои спектакли Питер Брук, Питер Штайн. Причем нашего автора — Антона Павловича Чехова, на которого у нас почти не ходят зрители. Мы перестали Чехова ставить. Штайн потряс всех своими «Тремя сестрами», разыграв



эту нашу классику со своими актерами, и довел наших зрителей до слез. Что там: бомба была? Крокодила живого выпустили? Да нет, играют в тонах Станиславского. Для того чтобы так играть, надо к этому стремиться, надо научить себя впадать, влезать, выпрыгивать в эти вроде бы чужие обстоятельства именин, проводов, знакомств, любви — все не впрямую, но все это требует огорченных нервов, сердцебиения и внутренних эмоциональных затрат, что сложнее.

Из наших с Марком Анатольевичем работ мне больше всего нравился «Вор» Мысливского. Как раз спектакль о боге, о забытой нами всеми распытой совести, человеческой справедливости. И я с удовольствием играл в нем старика-отца, в этом вопле душевном, в этом споре о правде жизни... Захаров потом к нему, по моему, отъезд, но не мог не заметить, что года два назад, на гастролях в Закавказье — Грузия, Армения, Азербайджане — «Вор» прошел потрясающе. В Захарове это есть — ощущение и понимание драматического спектакля, лучшие его работы и меня потрясали.

Меня интересуют, например, поиски чеховского «Иванова». Захаров на меня обижается, когда говорю, что спектакль не был доведен до конца, не считаю, что сама мысль сыграть Иванова таким, знаете ли простым — Ивановым, — по моему, чрезвычайно интересна. Мне всегда казалось, что работа с режиссером — это содружество, а не диктат, когда настырная рука постановщика заставляет замереть актера в неестественной позе. Не всегда получается так, как хочется. Правда, сейчас Марк Анатольевич может сказать: «А «Поминальная молитва»?» — и я замолчу...

— Как вы относитесь к коммерциализации театра?

— Мне это не нравится. У нас в государстве всем сейчас хочется заработать.

Перестали ездить на гастроли по стране: невыгодно и тяжело — мотаться по гостиницам, по жаре и холоду... Подняли цены на билеты, и я спрашиваю: а как же МХТ, который эти цены снижал?

— Можно ли сегодня говорить о кризисе театра?

— Мне вообще не нравятся все эти определения: «в кризисе», «вышли из кризиса», «мы уже на передовой...» Мы живем и отражаем то, как мы живем. Какое общество, такое и искусство, какое общество, такая и культура, какая культура, такая и нравственность. Если в жизни ложь, то почему на сцене — правда? Откуда она? Все подготавливается: и ложь, и вранье. Что мы с детьми делаем? Мы на школу сваливаем все заботы и забываем, что из каждого угла на нас в семье смотрят наши же дети. Вот ты пул ногой собаку, вот ты замахнулся половником на жену, вот ты выругался... Как мы сумеем стать нормальными людьми? Уж ладно, моисеевы заповеди, — мы их не знаем, нас и не учили, мы так далеко их откинули, что и обратно не возвратит. Из десяти хоть семь, хоть три, хоть две кто-нибудь запомнил бы: «Не убий», «Не прелюбодействуй», «Не лжесвидетельствуй...» Не плюй, любви ребенка своего, не убивай собак. У нас пять собак было в театре, одна даже на сцену выходила в «Поминальной молитве». Всех соседи отравили. Кто-то говорил, что дают по ночам.

Мы не верим в бога. Но все равно бог должен быть: для кого-то на небе, а для кого-то в своем сердце, чтобы не позволил сдать своего ребенка в приют, позабыть родителей.

Я тоже не верю в бога, но все говорят, что меня бог спас: «Вот вы никому не делали зла, добрый, хлопотали о квартирах, вот вам бог и ответил, он вас спас». Хотя я был в безнадежном состоянии. Мне очень обидно слышать от наших врачей, что тут меня бы не спасли, потому что у нас нет такой аппаратуры и таких лекарств. Надо не забывать, что у нас все это было! Что уровень наш был так высок, что оттуда, с Запада, приезжали кланяться. Но не Лысенко, а Виноградову, Вовси...

— Вы верите в то, что положение нынешнее в нашей стране, в культуре и нравственности может измениться? В лучшую сторону, разумеется...

— Не знаю, мне очень трудно сказать. В наше время можно одну новую партию организовать, можно много, можно мало — разве в этом будет дело? Надо каждому посмотреть в самого себя и сказать: чего ты хочешь, кроме призывов, деклараций, — чего ты по-человечески хочешь? Счастья в доме, счастья в обществе, счастья в соседнем доме? Или тебе хочется, чтобы там, рядом, через улицу, у кого-то было хуже, чем у тебя? Чего ты хочешь в этой жизни: сделать человеку хорошее или плохое? Вот тут и начнется, с небольшого, то, что приведет к благоденствию, к повышению нравственного уровня. Надо бороться за счастье, которое еще не пришло к нам в дом, нужно помянуть в себе что-то, особенно тем, кто руководит нами.

Это счастье, что нам дают возможность посмотреть, как наши депутаты, помимо произнесения умных речей, порой так цапаются, что хочется выключить все это. Ушла интеллигентность... Гласность — это не мордобитие! Это как же они Захарова прогнали с трибуны? Это же сразу не соображаешь, понимаешь, что вот так убивают человека и никому дела нет, что он отец водородной бомбы, значит, он необыкновенный физик, он умнее, лучше... «Слезь, какая разница!» Какая разница? Таких нету больше в этом мире.

Некоторые красуются, хотя чувствуется, что ума там не палата, и, может быть, он депутатом стал случайно, потому что тем, кто выбирал, было абсолютно все равно, кто будет депутатом, кто не будет. Но это неправильно. Это неправильно, ибо все равно эту жизнь мы должны сами выстроить. Чем больше мы будем соучастниками, вложим самих себя в это дело, тем вернее мы можем на что-то рассчитывать.

Сумеет ли мы остановить все процессы разложения, разрушения, жестокости, недоброты?.. У нас есть возможность, посмотрев на самих себя, что-то предпринять, и мне опять кажется, что все так вроде бы просто: не хватает кирпичей — собораться, устроить субботник в понедельник и наладить их выпуск, построить десять заводов сразу или сто. Не хватает ложек — построить завод, два дня потратить, наклепать этих ложек. У нас за что ни возьмешься, чего-то нет, и каждый раз чего-то незначительного, и разобраться с этим порой трудно, хотя вроде бы, по моей логике, так просто: слева — доброе, справа — недоброе, здесь — да, здесь — нет. Мы знаем, что история человечества такова — люди мечтали о построении счастливого, справедливого общества, значит, все нужно делать для этого. А для чего же мы живем? А для чего я коммунист? Чтобы было хорошо людям. И тот коммунистичней, кто больше людям добра сделал, он сердце свое тратит: вот ему надо Героя Соцтруда дать, а не тому, кто в своей области выбил больше хлопка, который, оказывается, — на крови...

— Играете ли вы сейчас что-нибудь, кроме Тевье?

— Я после болезни вернулся и сыграл в «Диктатуре совести». У нас в месяц объявляются по 10–12 «Поминальных молитв», и если я все сыграю, то точно помру, поэтому приходится балансировать: то полую спектаклей сыграю, то чуть больше. Поэтому не прибавлять бы пока других постановок, хотя там, за сценой, остались «Оптимистическая трагедия», «Вор», на возрождение которых нужно рискнуть. Но сумео ли я осилить?..

— Обычно ваши интервью прошлых лет заканчивались тем вопросом, кто бы задался себе сам: «Как живешь, Леонов?» Как вы ответите на него сегодня?

— Все-таки какой-то запас интереса к жизни в меня кто-то вложил. Мне нравится жить, я люблю это дело. Ну а сейчас не могу сказать, что живу так хорошо, потому что вокруг меня все слишком сложно. Уже говорил, что был два года назад в Армении и в Азербайджане, и в Тбилиси. Все там было окрашено человеческой добротой, желанием угостить, показать, погордиться: вот это наши горы, вот это наше солнце. А сейчас... Если кидают бомбы, если стреляют зенитные орудия, если идет — что скрывать-то? — межконтинентальная война, — кто возьмет на себя право сказать: так нужно, это ради детей, ради будущего нашего... Неужели что-то нельзя обсудить, доказать словами? Ведь все, что происходит, — это бессмысленная резня, и чем скорее все это кончится, тем лучше.

— А все-таки, как вы думаете, каким способом можно все это изменить?

— Я не знаю. Это очень сложный вопрос. Помогает нравственность, но сколько времени на это нужно... Очень много.

— Сейчас на телевидении появилась новая передача: «Воскресная нравственная проповедь». Если бы вам предложили в ней выступить, что бы вы сказали?

— То же самое.

Беседу вел Игорь ОВЧИННИКОВ.

Фото А. Худасова.